ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА, 2010, том 69, № 1, с. 44–62

ИЗ ИСТОРИИ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

ДИССЕРТАЦИЯ Н.П. АНЦИФЕРОВА: ИСТОРИЯ ЗАЩИТЫ

© 2010 г. Д. С. Московская

Настоящая статья основана на стенограмме защиты диссертационного исследования Н.П. Анциферова “Проблемы урбанизма в русской художественной литературе” (1944). Вместе со сведениями о творческой истории и замысле диссертации в статье содержатся данные по существу затронутой в ней литературоведческой проблематики и ее рецепции научным сообществом. Впервые описываются научные перспективы обоснованного в ней локально-исторического метода. Статья целиком построена на ранее неизвестных документах научной биографии и практической краеведческой и экскурсионно-педагогической деятельности ученого, отложившихся в архивах Санкт-Петербурга и Москвы.

The paper is based on the shorthand record of the defence of N.P. Antsiferov’s dissertation “Problems of Urbanism in Russian Literature” (1944). Besides information concerning its conception and development, the paper includes facts related to essential problems of literary criticism and the reception of the dissertation by the scholarly community. Perspectives of the topos-oriented historial methods devised in the dissertation are described for the first time. The article is founded on previously unknown documents of the scholar’s biography, his pedagogical and guiding-tours activities as well as those in the field of regional studies deposited in the archives of St.-Petersburg and Moscow.

5 сентября 1944 г. Ученый совет ИМЛИ АН СССР в очередной раз собрался на публичное заседание. В тот день к защите была представлена кандидатская диссертация Н.П. Анциферова “Проблемы урбанизма в русской художественной литературе. Опыт построения образа города – Петербурга Достоевского – на основе анализа литературной традиции”. Среди присутствовавших – члены Ученого совета В.Я. Кирпотин, Л.И. Пономарев, С.И. Соболевский, Л.И. Тимофеев, Н.Л. Бродский, Н.К. Гудзий, Б.В. Михайловский, А.К. Дживелегов, М.А. Цявловский, В.Ф. Шишмарев, Д.Д. Благой, С.А. Богуславский, Б.П. Козьмин.

Заметим сразу, что защита бурной полемики не вызвала и прошла в общепринятых рамках; диссертант получил искомую степень кандидата филологических наук в результате единодушного голосования 13 членов Ученого совета. Однако интрига “прикровенно” присутствовала в сдержанных, полных оговорок, положительных отзывах официальных оппонентов и безоговорочно восторженных – неофициальных, и имела давнюю историю. Можно сказать и так: интрига проявила себя в редких для научной карьеры Анциферова благоприятных обстоятельствах обнародования его идей, но не найдя в тот день разрешения, и сегодня сохраняет свою каверзную научную суть.

Сохранившаяся в Архиве Российской Академии наук стенограмма защиты [1] использована в настоящей статье для уточнения известных фактов и установления новых деталей еще недостаточно исследованной биографии ученого. В то же время она имеет самостоятельное концептуальное значение: вместе со сведениями о творческой истории и замысле диссертации здесь содержатся данные по существу затронутой в работе литературоведческой проблематики и ее рецепции научным сообществом.

Ученый секретарь ИМЛИ Б.В. Горнунг представил соискателя Совету и кратко охарактеризовал его биографию и трудовую деятельность.

Диссертант был немолод. В тот год ему исполнилось пятьдесят пять лет. К моменту защиты он состоял в должности старшего научного сотрудника, ученого секретаря и заведующего сектором Государственного литературного музея. Горнунг сообщил, что Анциферов родился в семье педагога, обучался в 1-й Киевской гимназии и Петербургском Университете, который окончил в 1915 г. по историко-филологическому факультету, и был оставлен здесь по кафедре общей истории с подготовкой к профессуре. В годы после революции вел большую педагогическую работу в Ленинграде, во 2-м Педагогическом Институте, в Институте истории искусств на литературном факультете и в ряде других высших учебных заведений. За рамками официальной аттестации остался ряд биографических сведений, относящихся к трудовой деятельности Анциферова в пред- и пореволюци-

онные годы. Восстановим их по Curriculum vitae, представленному при поступлении на работу во 2-й Петроградский Педагогический Институт им. Н.А. Некрасова.

Согласно этому документу, преподавательскую деятельность Анциферов начал уже студентом Университета: с первого курса учительствовал в начальных классах школы села Выдерга Рязанской губернии, вел образовательный гуманитарный курс на Обуховском заводе Ленинграда, руководил экскурсиями по Эрмитажу. Систематически работать начал с 1915 г. преподавателем истории сначала в Герценовском училище (1915–1917), затем в Тенишевском (1918–1925) [2, л. 3]. Одновременно с работой в средней школе в 1915–1917 гг. он служил помощником библиотекаря в Публичной библиотеке. В 1920 г. был избран профессором Туркестанского университета по кафедре Всеобщей истории. В течение года вел подготовительную организационную работу на историко-филологическом факультете Петроградского университета, однако из-за расстроенного здоровья не смог поехать в Туркестан и остался на службе во 2-м Педагогическом институте.

Сюда его привлек И.М. Гревс, руководитель градоведческого культурологического семинария Петербургского университета, где Анциферов специализировался все годы учебы. Среди материалов личного дела Николая Павловича из архива Педагогического института – подробная характеристика, данная учителем. Надо заметить, что характеристики Гревса сопровождают биографию любимого ученика на протяжении многих лет его научной жизни. Каждый раз новые ее страницы предварял один из таких отзывов.

Первый (хранится в Государственном историческом архиве Санкт-Петербурга и датируется 7 ноября 1915 г.) характеризовал Анциферова как многообещающего молодого ученого и ходатайствовал об оставлении его после окончания учебы на факультете еще на два года: для усовершенствования в науке и подготовки к профессорскому званию [3, с. 155].

Спустя 7 месяцев была составлена вторая характеристика, предназначавшаяся для Ученого Совета Педагогического института [2, л. 27]. В ней Анциферов был рекомендован историко-филологическому факультету в качестве преподавателя кафедры Всеобщей истории. Некоторой сложностью для устройства молодого ученого на эту работу было отсутствие у него публикаций. Однако это обстоятельство не смущало Гревса. В Анциферове он видел готовую научно-преподавательскую силу. К своей оценке Гревс присоединял положительное мнение об Анциферове профессора М.М. Ростовцева, под руководством которого его ученик занимался римской историей эпохи поздней античности и раннего средневековья и добился значительных успехов.

Третья характеристика – отзыв об исторической работе Н.П. Анциферова – датирована 26 марта 1936 г. Анциферов аттестован как блестящий ученый, полностью раскрывший свои способности и ставший превосходно осведомленным и творчески сильным историком-градоведом [4, л. 66]. Гревс особо отметил своеобразие научного метода ученика – “систему взаимодействия документального и монументального исследования”, когда изучение памятника ведется по архивным источникам и сочетается с посещением местности – с краеведческим “погружением” в нее. Высокую оценку Гревса подтверждал действительный член Академии наук СССР историк-медиевист Д.М. Петрушевский.

Это был последний отзыв учителя о своем ученике. 16 мая 1941 г. Гревса не стало. Заверенная в Литературном музее машинописная копия этой характеристики была представлена Анциферовым в Ученый совет ИМЛИ и сейчас хранится в его личном деле. Ею он заменил утерянный диплом об окончании Университета. По-видимому, диплом вместе с архивом и обширной библиотекой сгорел в пожаре захваченного немцами города Пушкина, где в квартире № 2 дома № 14 по улице Революции в двадцатые годы проживал с семьей Анциферов и в предвоенные годы продолжали жить и учиться его подросшие дети.

Но вернемся к началу трудовой деятельности соискателя. 28 мая 1919 г. он был единогласно избран на должность преподавателя истории гуманитарного факультета Института. Ему был поручен курс “Римское общество в эпоху Империи” и практические занятия. Сотрудниками Анциферова на кафедре были И.М. Гревс, ведший курс истории первобытной культуры, и Е.Б. Тарле – с циклом лекций “Эпоха гуманизма и реформации” [2, л. 37].

Вскоре после начала работы Анциферову было предложено возглавить кафедру Древней истории, и в этой должности он продолжал преподавательскую деятельность до момента слияния Некрасовского пединститута с 1-м Педагогическим Институтом им. А.И. Герцена, что произошло в 1924 г. Прекращение работы в Педагогическом институте, вероятнее всего, было вызвано не организационными изменениями, а событиями личного порядка, которые Анци-

феров, по понятным причинам, не упомянул в составленной для ИМЛИ автобиографии и которые не были сообщены Ученому совету. Летом 1924 г. ученый был впервые арестован и сослан.

Обстоятельства этого события сохранились среди материалов допроса, которому Анциферов был подвергнут в 1937 г., при своем третьем и последнем аресте: “В феврале 1924 г. <…> ко мне зашел мой товарищ по Университету А.Э. Серебряков, которого я не видел со времен революции и о котором не имел никаких известий. Я объяснил ему, что мне в данный момент не до него (смертельная опасность обострения туберкулеза у жены после родов: в 1924 г. у Анциферовых родился последний ребенок, дочь Татьяна. – *Д.М.*) и просил зайти в другой раз – больше я его не видал. В июле 1924 г. я был вызван в ОГПУ, и мне было предъявлено обвинение в недоносительстве, за что я был осужден к вольной ссылке на 3 года. Через два месяца приговор был отменен, т.к. я не имел ни малейшего представления об обвинениях, предъявленных Серебрякову” [5, л. 38 об.]. Дневник “Думы и дни” 1924–1925 гг. Анциферова сообщает дополнительные сведения о тех событиях: “В ночь с 24 на 25 был арестован. 26-го сослан в Сибирь в Новониколаевск. Там получил назначение в Туруханский край на 3 года. Однако отправлен не был, а получил разрешение уехать в Омск в качестве ссыльного. В Омске провел 7 недель, после чего получил разрешение вернуться домой. Мне казалось, что моя жизнь кончена, т.к. должна погибнуть моя семья, но друзья спасли семью” [6, л. 33 об.–34].

В биографии диссертанта, с которой Горнунг ознакомил членов Совета, была упомянута работа Анциферова в ряде музеев и в краеведческих организациях. Сказано об этом было вскользь: краеведческая деятельность в глазах Ученого Совета Академии наук в те годы уже не представляла значимой научной ценности. Однако именно краеведение позволило Анциферову в двадцатые годы выработать собственную методологию историко-литературного исследования, которую он положил в основу представленной к защите диссертации. Кроме того Анциферов стоял у истоков собирательской и охранительной музейно-научной деятельности, развернувшейся в Петрограде в первые пореволюционные годы, но об этом несомненном факте его научной и общественной активности характеристика умолчала.

В первые пореволюционные годы Петрополь умирал в глазах тех, кого Константин Вагинов называл его “друзьями”: “И милые его друзья / Глядят на рта его движенья. / На дряблых впадин синеву, / На глаз его оцепененье” [7, с. 130]. Экспроприация, смена политэкономического статуса, война, фронты которой прошли по территориям дворцов-пригородов, голод и бегство коренных жителей – все это имело трагические для материальной и духовной культуры Петрограда последствия.

Еще на западе земное солнце светит
И кровли городов в его лучах блестят,
А здесь уж белая дома крестами метит
И кличет воронов, и вороны летят, –

писала в 1919 г. А. Ахматова [8, с. 143].

В тот страшный год необычайная тишина опустилась на город “суеты суетствий”, дав новый сюжет двухвековой традиции “петербургских сказок”. Поистине: “Не слышно шума городского, / Над Невской башней тишина…”. Положив начало новой традиции, этот образ, казалось, завершал ее – темой свершившегося возмездия “самому умышленному на земле” городу и мотивом конца *тысячелетнего круга российской истории*.

Вблизи от войн, в своих сквозных хоромах среди домов, обвисших на полях, просторен и *спокоен* виделся ученику Анциферова по Институту истории искусств Константину Вагинову *Мертвый Град*. Над его смертным ложем склонилась отлетающая душа этой местности в облике античного ритора – творца прекрасного, но вымышленного мира:

Спит брачный пир в просторном мертвом граде,
И узкое лицо целует Филострат.
<…>
И снится им обоим, что приплыли
Хоть на плотах сквозь бурю и войну,
На ложе брачное под сению густою,
В спокойный дом на берегах Невы [9, с. 17].

Еще в годы Гражданской войны, когда, казалось, все силы были брошены на сопротивление внешним и внутренним врагам революционных завоеваний, прозвучали слова партийных идеологов об освобождающей миссии революции не только в политическом, но и в духовном плане. На повестку дня были поставлены задачи просветительские – разоблачение всяческих “сказок”, “мифов”, легенд и преданий: “Человечество только тогда идет вперед, когда оно всякому явлению подыскивает естественное объяснение” [10, с. 8]. Вымысел сковывает человеческое сознание, ограничивает в поступках, поощряет смиренное принятие “гнусных земных отношений”. С этих идеологических позиций следовало пересмотреть содержание гуманитарных учебных курсов: по мнению главного редактора газе-

ты “Правда” Н.И. Бухарина, все “учебники, все пособия были пропитаны духом рабства. В особенности учебники истории: там только и делали, что лгали” [10, с. 13].

Непростые отношения в контексте *исторических разоблачений* складывались в среде петербургской интеллигенции во взгляде на историческое прошлое, настоящее и будущее вошедшего в возраст исторических свершений *Юного града*. В 1918-м году, в самый разгар Гражданской войны, когда угроза оккупации города немцами была особенно велика, вышел построенный на архивных разысканиях исторический местнографический очерк города известного петроградского краеведа П.Н. Столпянского. В издательском предисловии было сказано, что возможность потери завоеваний революции пробудили любовь широких масс населения к своей “малой родине”, которая до того времени не замечалась. Труд Столпянского отвечал этому порыву, изображая, как Петербург рос и строился не только по воле царей и правящей бюрократии, но и трудами всего русского народа. Работа Столпянского выполняла актуальную идеологическую задачу времени: опираясь на логику “естественных” причин, она разоблачала легенду “высокого стиля” названия города.

«Петербург, или, как его ныне именуют, Петроград, является вполне малолетком среди столиц мира <…>. Весьма понятно, что такое позднее возникновение Петербурга не позволяет объяснить его происхождение каким-нибудь сверхъестественным способом, с помощью более или менее остроумно выдуманной легенды. <…> Но все же появилась легенда, которую мы, петербуржцы, всасываем чуть ли не с молоком матери и которой мы верим всю нашу жизнь. Происходит такая упорная вера потому, что этою легендою воспользовался наш величайший поэт Пушкин и так поэтически изложил ее, что, раз прочитав поэму Пушкина “Медный Всадник”, навсегда запечатлеешь эту легенду в своем уме. <…> Фантазии поэта <…> не было, на самом деле все происходило гораздо проще и естественнее» [11, с. 9, 10, 12].

Опирающееся на исторические документы исследование Столпянского отвергло “магию” всемирно известного петербургского genius loci. Согласно архивным разысканиям автора “Петербурга”, название города было формой утверждения факта, в действительности не имевшего места, но в истинность которого, тем не менее, уверовали все.

В 1918 г. П.Н. Столпянскому исполнилось 46 лет. Не получивший систематического образования он был историком-любителем, петербурговедом, знатоком исторических архивов. Типичный разночинец по происхождению, он остро ненавидел самодержавие. Близкий по убеждениям к социал-демократии, по идеалам – к шестидесятникам-народовольцам, он ждал от революции полного раскрепощения и освобождения человеческого духа [12, с. 43–44] и после ее совершения вошел в радикальное крыло краеведческого движения Ленинграда.

1921 год – год окончания Гражданской войны и введения нэпа, прошел для интеллигенции страны под знаком борьбы за сохранение гибнущего культурного наследия. В декабре 1921 г. на 1-й Конференции научных обществ по изучению местного края в Москве была принята резолюция о создании Центрального бюро краеведения (ЦБК). В январе 1922 г. Российская Академия наук, заслушав резолюцию Конференции, постановила образовать ЦБК при Академии наук в составе Петроградского и Московского отделений. 13 января открыло свои заседания Петроградское отделение, которое возглавил близкий друг И.М. Гревса С.Ф. Ольденбург. 16 февраля 1922 г. в Москве состоялась 1-я сессия ЦБК, на которой Ольденбург был избран главой президиума Бюро. В октябре того же года в Москве прошли 2-я и 3-я сессии ЦБК, где в целях оживления работы в его состав были введены от Петрограда В.П. Семенов-Тянь-Шанский и И.М. Гревс. Показательным для материального состояния культурных сокровищ Петрограда был тот факт, что в течение 1922 г. его краеведческое отделение собиралось 42 раза, что почти в два раза чаще московского.

В 1921 г. Анциферов вступил во вновь созданное общество охраны культурного достояния бывшей северной столицы “Старый Петербург”. В том же году Гревс привлек его к работе на гуманитарном факультете Петроградского Экскурсионного института, созданного зимой 1920 г. В 1922 г. в издательстве Брокгауза и Эфрона была издана первая книга Анциферова “Душа Петербурга”, обобщившая опыт его преподавательской и экскурсионной деятельности еще в бытность его учителем истории Тенишевского училища.

Литературные отклики соединили работу молодого ученого в один тематический ряд с историческими исследованиями его старшего современника П.Н. Столпянского: одновременно с книгой Анциферова в 1922 г. издательством “Колос” была опубликована еще одна работа Столпянского “Революционный Петербург”.

“Душа Петербурга” задумывалась Анциферовым еще в 1919 г. [13, с. 15] и, действительно, была его ответом на разоблачительный пафос

первой пореволюционной книги Столпянского “Петербург”. Различие между этими двумя монографиями подчеркивали названия. Автор “Петербурга” дал своему труду научно-популярный, с просветительской перспективой, подзаголовок: “Как возник, основался и рос Санкт-Питербурх”.

Написанная специалистом в области социальной истории, профессиональным историком-урбанистом монография Анциферова исследовала историю города по литературным “мифам” и “сказкам”, опиралась на многочисленные местные предания и носила ненаучное и несовременное название “Душа Петербурга”.

В конце 1922 г. появились первые отзывы на книгу Анциферова. “Душа Петербурга” была замечена Валерием Брюсовым – в прошлом одним из самых ярких представителей предреволюционного символизма. Его петербургские мотивы, исполненные восхищения архитектурными символами имперской славы и мощи: Медным Всадником, “Царским домом”, Александрийским столпом, сфинксами, – вошли в анциферовскую “аналитическую” антологию. В 1922 г. Брюсов был уже членом ВКП(б), возглавлял Высший литературно-художественный институт и служил официальным рецензентом Литературного отдела Наркомпроса. Его отзывы создавали или закрывали в те годы литературные биографии начинающих поэтов и писателей. Одна такая рецензия, опубликованная третьим номером журнала “Печать и революция” за 1923 г., положила начало последующему негативному восприятию работ Анциферова.

В литературно-критическом предвидении Брюсова тема “таинственного лика” города и задача познания его идеи, или “души”, не имела будущего: «Сдается нам, что и сам автор, и те читатели, к которым обращена книга, из числа <…> “пассеистов”» – влюбленных в отходящие предания прошлого. Более существенным рецензент считал исследование “фона истории”, но Анциферовым он был плохо воссоздан: вместо комплексного очерка исторического пути города в книге были даны “почти исключительно цитаты из писателей” [14, с. 631], говоривших о Петербурге.

Брюсовым был поставлен вопрос о научной новизне исследования Анциферова. Он считал, что книга не отвечает названию (правильнее ее было назвать “Петербург в русской поэзии”) и ничего нового по замыслу – “собрать литературные характеристики данного явления” [14, с. 631] – не представляет. Вопрос методологии “Души Петербурга” был затронут и в положительной рецензии Александра Тинякова, опубликованной газетой “Последние новости” [15, с. 3]. Проследив меняющийся образ города, воссозданный Анциферовым по произведениям русской литературы, Тиняков не согласился с мыслью автора о социально-исторических причинах этих изменений: по мнению рецензента, их природа – психологическая.

Отзывы Брюсова и Тинякова относили выводы книги Анциферова к области субъективных переживаний. Для Брюсова примером авторского субъективизма была неполнота подбора цитат из произведений о Петербурге и допущенные Анциферовым противоречия в оценке их содержания. Тинякову субъективными представлялись созданные русскими писателями образы северной столицы, на которые опирался автор. В восприятии первых читателей “Душа Петербурга” была для кого блестящей, для кого – идеологически и научно устаревшей попыткой “мифологизации” истории, представленной сквозь призму эстетических впечатлений и нравственных переживаний “пассеиста”. В литературно-критических спорах того времени значение “впечатлений” и “переживаний” было крайне принижено или вовсе отрицалось. В дневниках Анциферова 1924–1925 гг. запечатлена реакция на один из критических отзывов на его работы: «На слово *душа* поднято гонение. Это последовательно. Недавно на меня напал в “Красной газете” Исаков. Он тоже из мундирных. Возмущался строчкой из моей статьи: “бытие и сознание взаимообусловлены”. Вот тут непоследовательно. Если отрицать воздействие идеи на жизнь – зачем пропаганда, зачем цензура?» [6, л. 29 об.]

Об огромной краеведческой, музейно-экскурсионной деятельности Анциферова в двадцатые годы лишь вскользь упоминала характеристика, представленная в Ученый совет ИМЛИ. В то же время именно эта деятельность дала практический материал для проверки им своих научных подходов и апробирования методики историко-литературного анализа. Летом 1921 г., во время летнего проживания с семьей на “антресолях” (четвертый, служебный этаж) правого крыла Павловского дворца Анциферов стал одним из организаторов семинария по изучению этого дворца-пригорода как художественно-архитектурного памятника в рамках общества “Старый Петербург”. 25 июня начались занятия. За лето было проведено более 127 экскурсий для 12 тысяч человек, в том числе, детей, которым были предложены экскурсии: “Сказки дворца”, “Русский царь 150 лет назад”, “Почему здесь так много статуй и о чем они говорят (мифы)”. Взрослые участвовали в экскурсиях “Общий обзор дворца – синтетический облик”, “Культурно-исторический быт конца XVIII сто-

летия" и др. Анциферов вместе с другими участниками семинария работал экскурсоводом.

Была сделана попытка вернуть отлетевшую "душу" в эту местность. Дворец русского императора хотели оживить "тенями прошлого". Появилась идея экскурсии в "костюм, жест и музыку" XVIII столетия [16, л. 2]. Замысел осуществлен не был, но идея оставила след в книге Анциферова "О методах и типах историко-культурных экскурсий", изданной спустя два года в Петрограде. В ней ученый утверждал необходимость непосредственного знакомства с исторической местностью для целостного – *анализирующего и синтезирующего,* восприятия всех элементов ее природно-человеческого устроения: «Только при этих условиях не "воображаемый портрет" из пьесы Д.С. Мережковского, а реальный образ императора Павла I воскреснет, как genius loci Гатчины» [17, с. 33].

Экскурсионно-преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность Анциферов вел в рамках своего сотрудничества с Экскурсионным институтом и в качестве члена Экскурсионного бюро общества "Старый Петербург" (в начале 1924 г. преобразованного в Отдел популяризации). Протокол заседания Общества от 27 января 1923 г. сообщает, что председателем Бюро был предложен Анциферов. К руководству чем бы то ни было Анциферов никогда не стремился. И хотя при баллотировке им было набрано большинство голосов, от руководства Бюро он отказался и передал бразды правления Т.В. Сапожниковой [18, л. 1–2].

Научные конфликты часто проявляют себя в околонаучном быту. Так, противоречия между установкой Столпянского на "обличение" искажений действительности в литературных и исторических мифах и стремлением Анциферова найти в них жизненную правду и исследовать природу "искажений" в художественных отражениях реальности продолжились в "литературном быту". Личное знакомство Анциферова со Столпянским произошло, вероятно, в обществе "Старый Петербург": список Совета Общества включает имена обоих, наряду с С.Ф. Платоновым, С.Н. Жарновским, Г.Э. Петри и др. – всего 10 членов – с 1922 г. [19, л. 112]. Заочное знакомство совершилось ранее – при чтении работ друг друга. В архиве П.Н. Столпянского сохранился его отзыв на книги Анциферова. По поводу "Души Петербурга" он писал, что не может "согласиться с идеологией автора", хотя признает значение собранного им громадного фактического материала [12, с. 188]. Со своей стороны, интерпретация исторических фактов в "Петербурге" Столпянского не устраивала Анциферова. В "Душе Петербурга" он отметил: «Я не упускаю из виду отрицательное отношение Столпянского к легенде о чудотворном строителе. Если он прав, и Петербург не был создан Петром с целью "грозить шведам", и вообще Петр не сразу наметил его для новой столицы, все же в общих чертах старая оценка роли Петра в создании города остается верной» [20, с. 30].

В Экскурсионном бюро Анциферову была поручена разработка общей стратегии деятельности. Автор известной книги по истории Петербурга ("Душа Петербурга" была опубликована в октябре 1922 г., "Петербург Достоевского" тогда еще находился в печати и увидел свет в октябре 1923 г.), в феврале 1923 г. он предложил цикл экскурсий по городу, принятый единогласно, несмотря на протест П.Н. Столпянского. Столпянский обратил внимание Совета Общества на то, что все экскурсии, принятые по программе Бюро, "должны быть проводимы в революционном направлении", имея ввиду иные научные цели автора "Души Петербурга". Однако, "ввиду единогласного мнения" Совета, вопрос, поднятый П.Н. Столпянским об "аполитичности экскурсионной работы Бюро", был снят с обсуждения [16, л. 3].

Однако противоречия в Совете на этом не утихли. 10 февраля Столпянский решительно выступил против утверждения секретарем Экскурсионного бюро В.Г. Конради (биографические данные не установлены), "ввиду того, что она была судима революционным судом и условно приговорена к отбыванию наказания" [16, л. 4]. Собрание Бюро единогласно выбрало Конради секретарем, считая мнение Столпянского не отражающим мнения Совета. Анциферов попытался уменьшить остроту конфликта, предложив компромисс, – избрать Конради в качестве второго секретаря, однако потребовал снять вопрос об указанных Столпянским политических причинах отвода Конради.

Упомянутый план работы экскурсионного семинария по Старому Петербургу, разработанный Анциферовым в 1923 г. и вызвавший сомнения Столпянского, включал следующие темы: 1) "Лицо города": "Вышка Исаакия", "Медный Всадник – комментарий к поэме-мифу Пушкина", "Genius loci Петербурга"; 2) "На чем стоит Петербург": экскурсия, посвященная поверхностным слоям почвы города; 3) "Предшественники Петербурга" и т.д. [21, л. 19–21].

Анциферов читал специальные доклады по темам экскурсионного семинария –"Изучение

пейзажей старого Петербурга” и о проблеме вымысла в пушкинском “Медном всаднике”. В этих лекциях и докладах формировался замысел последней книги “петербургской трилогии” ученого “Быль и миф Петербурга”, главным выводом которой была мысль “*миф обусловлен былью*” [20, с. 6]. Столпянский, не считая инцидент исчерпанным, в том году выступал с проблемными докладами вроде “Возможны ли революционные экскурсии по Старому Петербургу”. Для него город был средоточием красоты человеческого служения человеку, музеем искусств, но прежде всего, местом революции [12, с. 59].

В конце 1923 г. на заседании Совета был заслушан доклад архитектора М.И. Рославлева «Об организации в обществе Секции будущего города и нового градостроительства под названием “Новый Ленинград”». И 7 апреля 1924 г. под его руководством в Обществе начала действовать секция “Новый Ленинград” [19, л. 210]. “Старый Петербург” устремлялся в будущее, навстречу задачам, поставленным перед ним эпохой “борьбы за новый быт”.

Летом 1924 г. были произведены дополнительные выборы в Совет Общества взамен выбывших четырех его членов, в их числе – Н.П. Анциферова. В это время он уже был арестован и находился под следствием, о чем было рассказано выше.

В октябре 1925 г. Отдел популяризации – бывшее Экскурсионное бюро “Старого Петербурга”, работавший при деятельном участии и научном руководстве Анциферова, решением нового состава Совета был закрыт. Группа его старейших членов, участвовавших в создании “Старого Петербурга”, во главе с С.Н. Жарновским, выступила против такого решения, зафиксировав свое мнение специальным протоколом. Среди выступивших против этого мнения с резолюцией “протокол составлен тенденциозно и не соответствует происходящему” [22, л. 12] были оставившие под ней свои подписи А.Г. Яцевич, В.А. Траубер и П.Н. Столпянский.

С 1925 г. на заседаниях Президиума Совета Общества “Старый Петербург – Новый Ленинград” неизменно председательствовал уже П.Н. Столпянский. 4 декабря 1925 г. из Общества вышли 43 человека, все из числа его старинных членов. Причиной послужило закрытие Отдела популяризации, воспринятое как изменение духу Устава. Подводя итоги свершившемуся, А.Г. Яцевич (1888 г.р., юрист по образованию, ученый археолог по профессии, член общества с середины 1924 г. [23, л. 51]) заметил, что общество фактически распалось на два – “Старый Петербург” и “Новый Ленинград”, с разным личным составом. По мнению Яцевича, “старый метод работы должен отпасть” [22, л. 48].

Разумеется, напрашивающийся из приведенной хроники участия Анциферова в краеведческом движении города вывод о *пассеизме* ученого, чьи научные интересы устремлены в прошлое, а не будущее Петрополя, был бы не верен. Проблема, которую решал Анциферов в своих историко-литературных исследованиях образа Петербурга, не имела отношения к “пассеизму”, так как была направлена на изучение *прогностического аспекта* петербургского урбанистического литературно-художественного хронотопа. Вместе со своим городом Анциферов *шел вперед*, как того требовало время и политика, но делал это с позиций профессионального историка, обратившегося к свидетельствам исторических документов особого, художественного порядка. С этими научными перспективами им была написана и последняя книга петербургского цикла “Быль и миф Петербурга”. Она, получившая в целом положительные отзывы в литературно-критических обзорах, была категорически не принята П.Н. Столпянским. «Другая книжка того же автора “Быль и миф Петербурга” страдает отсутствием фактов и обилием чересчур рискованных положений, причем для описания наводнения в Петербурге в 1924 г. понадобилась справка об индейских легендах» [12, с. 188], – писал он в 1926 г. Реальный петербургский хронотоп – природно-архитектурный ландшафт города, на который, в первую очередь, опирался в своих рассуждениях Анциферов, он не считал фактом, достойным внимания историка.

Среди высших учебных заведений, где преподавал Анциферов, в справке о его деятельности для ИМЛИ была упомянута работа в Российском институте истории искусств (РИИИ). Здесь, в 1925–1928 гг. [5, л. 40] на литературном факультете он вел семинарий по теме своих монографий – курс художественной литературы в связи с изучением Ленинграда и его окрестностей. Анциферова в РИИИ знали с 1921 года. Тогда Институт и общество “Старый Петербург” договорились об *обмене живыми научными силами* [19, л. 9], после чего списки личного состава Общества и сотрудников Института, штатных и сверхштатных, частично совпали. В том же году Анциферов был приглашен участвовать в сборнике “Об Александре Блоке”, подготовленном коллегами из РИИИ. Анциферов выступил в нем со статьей “Непостижимый город”, которую позже упоминал в автобиографиях как свою первую публикацию по проблемам урбанизма в художественной литературе.

Все годы трудовой деятельности его сопровождали выдающиеся ученые. В Экскурсионном институте, куда, как было выше упомянуто, Анциферова пригласил декан гуманитарного факультета Гревс, в 1921–1924 гг. с ним работали блестящие философы, историки, этнографы и искусствоведы: Д.А. Золотарев, Б.Н. Брюллов, О.Ф. Вальгауер, Н. В. Вейнерт, О.В. Добиаш-Рождественская, Ф.Ф. Зелинский, А.Я. Пресняков, И.И. Лапшин. В Педагогическом институте бок о бок с ним трудились филологи и историки И.М. Гревс, Л.В. Щерба, Б.М. Эйхенбаум, Е.В. Тарле. В Институте истории искусств к этим именам прибавились С.Ф. Ольденбург, Ю.Н. Тынянов, В.М. Жирмунский, Б.М. Энгельгардт, Н.С. Гумилев, В.Н. Адрианова-Перетц, Г.И. Гуковский, М.Л. Лозинский, Б.В. Томашевский, Н.И. Пунин, А.А. Слонимский, В.Б. Шкловский. Впрочем, связи Анциферова с историками и теоретиками литературы Института – здесь формировалось новое методологическое направление, принятое называть "формальной школой", – установились еще во времена учебы в Петербургском университете на историко-филологическом факультете, где будущие формалисты обучались в пушкинском семинарии С.А. Венгерова, а Анциферов – в дантевском семинарии Гревса. Таким образом, первые литературоведческие опыты Анциферова по проблемам урбанизма создавались в широком контексте дискуссии о месте социальной действительности в литературном процессе, развернувшейся под влиянием теоретических работ опоязовцев.

Проблема отношения к внелитературному ряду в начале 1920-х гг. остро ставилась в работах Б.М. Эйхенбаума и Ю.Н. Тынянова, посвященных законам эволюции художественных форм. Психологически-биографический момент творчества интересовал также одного из лучших комментаторов Пушкина Б.В. Томашевского в специфически характерном для гуманитарных наук тех лет аспекте отношения к "литературной легенде", или "преданию". Социальная реальность, учет которой для одних был "вненаучной контрабандой", "забеганием с заднего крыльца", для Томашевского, в те годы одного из представителей формального метода, была "литературной функцией" писательской биографии, традиционной спутницей художественного произведения или исторического события [24, с. 6].

Томашевский писал свою статью "Литература и биография" не без оглядки на только что вышедшие из печати книги Анциферова "Петербург Достоевского" и "О методах и типах историко-культурных экскурсий". Он оперировал примерами и терминами, сходными с теми, что были использованы для своих научных целей Анциферовым. При единстве материала – они оба рассматривали "легенду", т.е. факт, не имевший места в действительности, но повлиявший на читательское восприятие произведения, – и при разном подходе к этому материалу они пришли к одинаковым заключениям.

Среди примеров воздействия "легенды" на читателя Томашевский указал "Лизин пруд", *паломничество* к которому стало любимым делом тех, кто уверовал в документальность сентиментальной повести Карамзина. Анциферов, со своей стороны, упоминал *паломничество* к местам пребывания Франциска Ассизского или топосам романов Гюго и Диккенса. По мнению Анциферова, такого рода посещения давали возможность "по части восстановить целое" [17, с. 18]: реконструировать образ человека определенной эпохи в условиях, определивших характер его личности. Для Томашевского эти топосы и связанные с ними "легенды" были "рамкой" художественного произведения. Как историк литературы он ценил в "легенде" способность воссоздать ту психологическую атмосферу, которая окружала произведения. Знание легенды необходимо "постольку, поскольку в самом произведении заключены намеки на эти биографические – реальные или легендарные, безразлично – факты жизни автора" [24, с. 8].

Для обоих ученых, исповедовавших противоположные методологические принципы, "атмосфера" или "психологическая среда", запечатленная легендой, представляла значительный культурно-исторический факт, который следует учитывать при составлении реального комментария к художественному произведению. Возможно, на почве одинакового понимания значения предания для художественного творчества возникли личные симпатии Б.В. Томашевского и Н.П. Анциферова, сохранявшиеся на протяжении более тридцати лет и не оборвавшиеся даже со смертью Николая Павловича. Добрые дружеские отношения связывают их потомков и по сей день.

Однако представители формального метода были далеки от литературоведческого подхода к действительности, избранного Анциферовым. Точка зрения формалистов была озвучена Львом Лунцем: "Ищите дома Достоевского не на улицах Петербурга, а на страницах романов Бальзака" [25, с. 410]. Литература, по их мнению, питается литературной традицией, а не реальными явлениями или памятниками жизни и истории.

Со своей стороны, Анциферов испытал влияние научных открытий, сделанных участниками пушкинского семинария Венгерова, в первую очередь, работ Б.М. Энгельгардта, посвященных “Медному всаднику”. В докладе Энгельгардта “Историзм Пушкина” (1913) [26, с. 118–119] отмечалось своеобразие главного героя поэмы: им стало не реальное лицо, а фальконетов памятник. Докладчик считал, что Пушкину был нужен образ, который бы освободил его от предвзятости суждения и тенденциозности. И поэт нашел его: герой поэмы – “кумир на бронзовом коне” – изначально содержал в себе иносказательную отвлеченность. Для понимания замысла поэмы было важно определить, какой из множества исторических обличий Петра I воплощен в монументе, какой из них художественно освоен Пушкиным. По мысли Энгельгардта, Пушкин избрал для себя в монументальном облике Медного всадника выражение решителя исторических судеб России – лик зачатого Петром “петербургского периода” русской истории.

Идеи Энгельгардта – знакомство с ученым Анциферов поддерживал, сотрудничая с РИИИ, продолжилось оно и в тридцатые годы – вероятно, показались Анциферову созвучными его собственным наблюдениям. Рассуждения Энгельгардта утверждали научную ценность для литературоведа монументального облика города, ставшего объектом изображения в беллетристике: в его отвлеченном “лике” символически запечатлелась значимая для населения города политико-экономическая или духовно-культурная идея. Архитектурно-монументальные формы обобщали общественную ситуацию, подводили исторические итоги. Их отвлеченно-символическое выражение можно было считать “посланием” современникам и потомкам, в котором каждый был волен угадать внятное его душе социально-историческое, духовно-культурное содержание.

Дискуссия о смысле “петербургской повести” преодолела рубеж революции и продолжилась в Петрограде на Пушкинском вечере 1921 г., участником которого мог быть Анциферов. Отзвуки дискуссии прозвучали эхом в его исследованиях динамики художественного отражения города. Архитектурные формы и городские панорамы, более других способные обобщать дух и значение исторической эпохи, благодаря этому свойству избирались авторами художественных произведений в качестве самостоятельных действующих лиц, с помощью которых писатели часто решали главные содержательные задачи своего творчества. Сопоставление городского художественного хронотопа с его прототипом вел ученого к выводам, противоположным научным посылкам “разрушителей легенд”. “Миф, созданный нашим поэтом (Пушкиным. – *Д.М.*), не искажение исторической действительности, а ее истолкование и сублимация, – **переключение в символические образы глубоких исторических процессов**” [13, с. 15].

В аттестации Анциферова Ученому совету сообщалось, что соискатель – автор большого количества печатных работ, среди них 14 книг и десятки статей в периодической печати и в виде предисловий к отдельным изданиям. Знаменитая “петербургская трилогия” Анциферова Горнунгом не была поименована: работы по градоведению и краеведению, литературным и историческим экскурсиям не соответствовали филологическим специальностям ВАК. Не было дано оценки влияния на художественное творчество современников и науку о литературе первых книг Анциферова, вероятно, и потому, что эти работы во многом послужили объявлению научной деятельности ученого враждебной задачам советского краеведения. В 1929 г. специалист по производственному краеведению В.А. Федоров на заседании ЦБК вспомнил “Душу Петербурга” и потребовал отмежеваться от этого антимарксистского произведения. В том же году Анциферов был арестован за участие в контрреволюционном кружке и дополнительно привлечен по “делу историков” С.Ф. Платонова и Е.Б. Тарле, с которыми он многие годы был лично знаком.

На следствии Анциферов показал, что он “действительно защищал интересы истории как научной дисциплины и в школе, и в краеведении” [5, л. 64 об.], выступая против научно-педагогических идей и планов М.Н. Покровского. С Покровским, в двадцатые годы работавшим заместителем наркома просвещения, Анциферов был знаком лично. Покровский курировал деятельность учебных заведений, в том числе Экскурсионного института, присутствуя на заседаниях научно-педагогической секции Государственного ученого совета, где обсуждалась деятельность Петроградского Экскурсионного института. Он выступал против стремления Гревса обучать методике экскурсионной работы на материале конкретной местности и вести в институте исследовательскую работу по ее изучению. Он считал, что инициатива Гревса нарушит планомерный характер развития советского краеведения [27, л. 172]. “Школа” Покровского, как сказал Анциферов на допросе, “сводила историю к социологическим схемам, отрицала за ней возможность объективности и боролась с интересами к про-

шлому своего края среди краеведов" [5, с. 64 об.]. Слова ученого не возымели действия. Анциферов был приговорен к заключению в концентрационный лагерь, где находился более 4 лет. "Участие" в "контрреволюционной деятельности" послужило причиной и последнего ареста Анциферова в 1937 г.

И все же первые книги Анциферова не прошли бесследно. Они оставили след в городском цикле романов Константина Вагинова, в те годы студента РИИИ. Идеи "Души Петербурга" отразились в городских "Столбцах" только что окончившего 1-й Педагогический институт Петрограда Николая Заболоцкого. Отмеченная в работах Анциферова способность местности определять мировосприятие ее населения – власть города над сознанием его обитателей – сильно проявилась в урбанистических мотивах романов, повестей и рассказов Андрея Платонова 1927–1929 гг. В литературоведении следует отметить ряд работ Л.В. Пумпянского, посвященных Достоевскому и Пушкину: "Пушкин и Петербург Достоевского" и «О "Медном всаднике", о Петербурге и его символе». Доклад на тему "петербургской повести" был прочитан Пумпянским в обществе "Старый Петербург" 18 декабря 1925 г., спустя 8 месяцев с момента выхода последней книги Анциферова.

Несколько "спрямляя" наблюдения автора "Были и мифа Петербурга", Пумпянский своими размышлениями фактически поддержал научную позицию автора "Петербурга" – оппонента Анциферова П.Н. Столпянского. "Мы можем гордиться городом, в котором живем, – писал Пумпянский, – наше мышление о нем неизбежно мифологизируется. Петр все более дереализуется, он становится благим конным демоном, которому поручено блюдение города. Пока все вполне по-античному, и у столицы есть этиологическая легенда" [28, с. 598].

Автобиография Анциферова, подготовленная им к защите, опускала события его второго и третьего ареста и ссылки (1929–1933 и 1937–1938 гг.). Горнунг упомянул лишь о начале работы диссертанта в 1933 г. в Музее истории Москвы и переходе в 1937 г. на службу в Государственный литературный музей. Он сообщил также о "весьма положительной" характеристике, данной Анциферову как научному работнику и общественному деятелю дирекцией ГЛМ.

Акцент на общественной активности диссертанта не был случайным. Отзыв дирекции ГЛМ однажды послужил "охранной грамотой" Анциферову. В первый раз ее составил лично В.Д. Бонч-Бруевич, пытавшийся таким образом предотвратить политическое преследование ученого, всего за полгода до своего последнего ареста, 11 марта 1937 г., ставшего сотрудником Литературного музея.

Сохранившаяся в Государственном архиве Российской Федерации обстоятельная справка Бонч-Бруевича с политической и деловой характеристикой Анциферова по специальному запросу ОГПУ от 14 сентября 1937 г. – интересный документ времени. Он подтверждает свидетельство старейшего сотрудника ГЛМ Г.Ф. Коган о неустанных хлопотах первого директора музея о своих подчиненных. Личное дело соискателя не сохранило упомянутой Горнунгом характеристики с последнего места работы. Однако ее содержание можно восстановить по справке Бонч-Бруевича, отложившейся в следственном деле ученого.

Сообщив об обстоятельствах приема прежде судимого Анциферова на работу в ГЛМ, Бонч-Бруевич скрупулезно перечислил документы, представленные Николаем Павловичем с мест заключения и прежней работы, подчеркивая "его высокую устойчивость". Директор не побоялся привести также собственное мнение о политической благонадежности сотрудника. Он свидетельствовал, что не замечал за Анциферовым "каких-либо уклонов" в суждениях "от советских установок нашего времени" и в его работе на юбилейной герценовской выставке не обнаружил "ни одного промаха, недоговоренности, или неправильной оценки событий той чрезвычайно важной исторической и революционной эпохи". Директор ГЛМ дал самую высокую оценку профессионализму подопечного. Среди работ Анциферова он особо выделил "описание всех мест пребывания Герцена в Москве и под Москвой", требовавших "больших литературоведческих и исторических знаний". Основной областью интересов своего сотрудника он назвал литературоведение, связанное "с музеями и архивами". Директор возлагал на Анциферова как профессионального архивиста большие надежды: «…я предлагал поручить ему разработку архива 40-х гг. для подготовки к печати в томах "Летописи" нашего музея, и к этой работе он должен был приступить в октябре месяце 1937 года» [5, л. 8–9 об].

Освобожденный по пересмотру дела в декабре 1938 г., Анциферов продолжил свою работу в ГЛМ. События недолгой – всего 5 лет – трудовой и научной деятельности соискателя в тридцатые годы Горнунг оставил за рамками официальной характеристики Ученому Совету ИМЛИ. Об этом несколько слов сказал пришедший на защиту Кельн, сотрудник Анциферова по Литературному

музею. Для него Анциферов был представителем *своеобразного направления* в литературоведении, связанного с изучением городов. Этой темой, как следует из слов выступавшего, Анциферов продолжал заниматься все годы работы в Литературном музее и создал описания Петергофа и Царского Села, показав художественное своеобразие и оригинальную "идею" этих мест. По мнению Кельна, кроме работ Н.К. Пиксанова, не было другого ученого, который в этой области литературоведческого градоведения сделал бы так много, как Анциферов.

Имя Н.К. Пиксанова мы встретим на страницах монографии диссертанта лишь однажды – в библиографии, в разделе "Общие работы" по проблемам урбанизма в русской художественной литературе. Там приводится ссылка на его книгу "Областные культурные гнезда" 1928 г. издания. В течение многих лет Анциферов и будущий академик Академии наук СССР работали на общем научном поле краеведческой тематики. Пиксанов первым предложил ввести в науку о литературе раздел, изучающий художественные закономерности творчества писателей-земляков, обобщая, таким образом, расцветшее в отечественной беллетристике в восьмидесятые годы XIX века явление "областничества". Рецензенты специальных краеведческих журналов, среди них Гревс, высоко оценили разработанный Пиксановым местнографический аспект литературного творчества.

Научные связи Пиксанова и Анциферова продолжились в годы работы последнего в Литературном музее. В 1944 г. Пиксанов поддержал предложенную *известным краеведом Анциферовым* анкету по собиранию материалов о местных писателях и литературных организациях, всей местной литературной жизни. Он считал делом большой важности выдвинутое в ней предложение придать краеведению "характер и задачи родиноведения", соглашаясь с тем, что "изучение литературных явлений местной жизни входит крупным звеном в изучение родины" [29, л. 5].

Осуществление деятельности, предложенной Анциферовым, он считал делом большой важности. Анциферов в свое время приветствовал появление работ Пиксанова по литературному краеведению, высоко ценил поднятую ими проблематику. Однако сам Анциферов, в русле общей с Пиксановым тематики, шел другим путем и к иным научным целям. Он справедливо считал себя первооткрывателем урбанизма в беллетристике как самостоятельной проблемы литературоведения, чем и объясняется отнесение трудов коллеги к разряду "Общих работ" в научной библиографии диссертации.

И все же для представителя от ГЛМ Анциферов был, прежде всего, блестящим знатоком А.И. Герцена. И не потому только, что ученый в течение двух десятков лет выявлял архивы, изучал биографию, исследовал наследие, составлял итинерарий и летопись жизни и творчества, комментировал и издавал труды этого "русского европейца". По мнению выступавшего, на творческий характер Анциферова как исследователя повлиял духовный облик Герцена, *великого русского мыслителя и писателя*. "Именно большими традициями русской культуры объясняется тот широкий научный кругозор Н.П., большая гибкость подхода к сложным вопросам и большая скромность его. Я глубоко убежден, что именно этой большой скромностью объясняется то, что Н.П., делавший и раньше ряд превосходных работ, новую свою работу, безусловно представляющую большой вклад в наше советское литературоведение, выставляет как работу на соискание только кандидатской степени, а не докторской" [1, л. 105].

* * *

После ознакомления Совета с биографией Анциферова ему было передано слово для выступления. Началась защита. Вступительное слово отсылало присутствующих к тезисам диссертационного исследования [13, с. 483–490]. Было ясно, что выбор "одной частной темы", как заметил в своем отзыве первый официальный оппонент Анциферова В.Я. Кирпотин, из огромного наследия Достоевского и сведение "проблем урбанизма" к образу Петербурга у этого писателя не отвечают требованиям жанра. И Анциферов начал свое слово с предупреждения. Избрав себе один основной объект исследования, он изучил его всесторонне, привлекая произведения писателей-урбанистов Запада, чтобы выяснить "индивидуальность подхода Достоевского". Для определения индивидуальных черт облика самого города у Достоевского он использовал материал, "характеризующий литературные традиции города" [1, л. 90] от Кантемира до современников Достоевского. Анциферов помогал слушателям проследить логику своей исследовательской мысли. От выявления индивидуальности Достоевского как художника-урбаниста на фоне художественных открытий влиявших на него западных писателей она устремлялась к замеченным русским классиком чертам нового исторического состояния столицы эпохи "трагического империализма".

Иначе говоря, предметом диссертации был не один, а два научных объекта – “*Петербург Достоевского*” и “*Достоевский из Петербурга*”. У Анциферова были все основания говорить, что тема города как самостоятельная проблема в литературоведении до него никем еще не ставилась. О чем он и заявил в своем вступительном слове, вызвав необходимое уточнение своего неофициального оппонента Б.В. Томашевского: “Тема города, конечно, старая тема в литературоведении” [1, л. 109]. Новой Томашевскому виделась не тема, а разработанный диссертантом подход к ней: “Тут можно прямо говорить об особом методе в обработке данной темы. Это объясняется тем, что недостаточно быть литературоведом, чтобы трактовать тему города. Тут нужна и специальность литературоведа, и историка, и художника – всем этим должен обладать исследователь данной темы” [1, л. 109]. Подход Анциферова требовал “полевого” исследования – “на городе часто легче всего конкретизировать образы литературы” [1, л. 109]. “Город и историю его”, как свидетельствовал Платонов в “областном организационном очерке” “Че-че-о” (1928), писатели изучают “пешком”. Поэтому реальный хронотоп более других образов художественного произведения можно комментировать, используя “наличную наглядность”.

Отзыв Б.В. Томашевского показал, что его составитель лучше официальных оппонентов понимал значение представленной к защите работы. Причин к тому было множество. Сработало и давнее знакомство двух ученых-ленинградцев, после революции трудившихся бок о бок в одних и тех же учебных заведениях, и установившийся в те годы интерес к исследованиям друг друга. Существовала и общность научных пристрастий. Покинув в середине двадцатых годов лоно формальной школы, переключившись на редакторскую и текстологическую работу, блестящий знаток Пушкина и великолепный архивист, Томашевский стоял у истоков отечественной текстологии, формируя эдиционную стратегию русской классики и вырабатывая научные подходы к ее комментированию. Перебравшись на работу в Москву, он неизменно поддерживал дружеские и научные отношения с Анциферовым. В качестве ученого секретаря Литературного музея и завотделом литературы XIX века Анциферов неоднократно приглашал Томашевского на обсуждения и научные собрания. Протокол одной такой встречи с выступлением Томашевского запечатлел не только тезисы доклада, но и его обсуждение, в котором принял участие Н.П. Анциферов. Один момент дискуссии поможет объяснить то особое понимание, которое впоследствии возникло у Томашевского при знакомстве с идеями диссертации Анциферова.

11 февраля 1943 г. докладом Томашевского “Пушкин – историк французской революции” Литературный музей отмечал пушкинские дни. К тому моменту Томашевский уже имел опыт составления биографии поэта в ее многообразных связях с широким культурно-историческим контекстом эпохи. *Вдвинув Пушкина в исторический процесс,* он имел в виду обоснование возникшей перед писателем задачи создать национальную литературу. Открытый Томашевским “историзм” Пушкина трактовался как поиск таких свойств личности героев, которые объясняли бы их индивидуальную неповторимость исторически и социально. Другой чертой пушкинского историзма, по Томашевскому, было обретение поэтом способности сохранять конкретику исторической точки зрения, изображая и прошлое, и настоящее. В докладе для научных сотрудников ГЛМ ученый акцентировал в Пушкине-писателе профессионализм и проницательность историка при работе над историей Французской революции [30, л. 1 об.]. Выступивший с пространным комментарием к докладу Анциферов сделал несколько замечаний, обнаруживших его глубокое – как профессионального историка и пушкиниста – знание материала. Но не исторические штудии поэта привлекли его внимание. Анциферову было важно услышать из уст выдающегося знатока русской литературы подтверждение своей догадки о специфической особенности этого русского писателя. “Ведь Пушкин всем известен как поэт. Мне кажется, что из сегодняшнего выслушанного труда совершенно явствует, что Пушкин был вполне подготовленным историком, который не смог им стать только в силу того, что был исключительный, гениальный поэт. <…> Мне представляется, что историческая наука требует от человека <…> поэтического дара. Историк не есть только ученый. <…> Среди поэтов мы раскрываем невоплотившихся ученых. <…> как велико было в нем (Пушкине. – *Д.М.*) чувство истории, как глубоко было его понимание истории. <…> Эти основные контуры Пушкина роднят его с тем образом, какой мы хотим теперь видеть. С одной стороны, писатель-реалист, а с другой стороны – историк, для которого история не есть что-то прошлое, а то, что в жизни присутствует, и из чего рождается наше будущее, в которое мы вступаем” [31, л. 2 об.–3].

В заключительном слове после дискуссии в ГЛМ Томашевский заметил, что принимает все замечания Анциферова и полностью разделяет вы-

сказанные им наблюдения. Обсуждение доклада Томашевского происходило в период напряженной работы Анциферова над диссертацией. В эти дни на огромном письменном столе его арбатской квартиры уже лежали начальные главы второй, “петербургской” части “Проблем урбанизма”. Уже проступали очертания финала – последняя глава “Идея Петербурга и Золотой век” как ответ на вопрос о значении “петербургских сновидений” Достоевского, о природе его исторического дара, раскрывшего в трагическом для его родного города XX веке свои пророческие силы. В конце 1943 г. он предложил Томашевскому ознакомиться со своим уже завершенным трудом, и на основании прочитанного – Томашевский начал чтение с финальной главы диссертации – признал автора достойным степени доктора филологических наук.

Что же открылось Томашевскому в этой работе? Что дало ему право утверждать, что представленная работа достойна высокого докторского звания, о чем он и заявил Ученому совету? В свете собственных историко-литературных штудий Томашевскому было ясно, что в исследовании коллеги найден язык научного описания, аутентичный художественному языку русской литературы, его типологическим особенностям и своеобразию, отличающему русскую литературу от литературы Западной Европы. Им было сказано буквально следующее: “Эта область работы является оригинально русской областью, и не только в хронологическом отношении (Томашевский обратил внимание присутствующих на то, что впервые тема литературного урбанизма была сформулирована именно в России. – *Д.М.*), но и по самому характеру данной разработки. Западноевропейские работы, насколько мне известно, являются своеобразными работами, скорее краеведческого характера (это отметили и официальные оппоненты), в то время как наши русские работы всегда связаны с глубокими проблемами литературоведения и общей истории культуры” [1, л. 109].

Далее этой мысли Томашевский не развивал и лишь подтвердил слова своего предшественника на трибуне – представителя от ГЛМ. “Только скромностью Н.П. можно объяснить то обстоятельство, что данный труд, во многих отношениях итоговый труд, сводящий и разрешающий многочисленные проблемы в данной области, а данная область, как видите, необъятна, <…> – только скромностью Н.П. можно объяснить то, что данная работа представляется в качестве кандидатской диссертации. Данная работа и понятие диссертационной работы кандидата – несопоставимы. Н.П. Анциферов давно перестал быть кандидатом в области науки” [1, л. 109–110].

За рамками выступления Томашевского осталось развитие его заветной мысли о “специфически русской области” науки и художественного литературного творчества, которой он в течение тридцатых годов занимался применительно к творчеству Пушкина, и которая нашла блестящее подтверждение в диссертации соискателя. Эта мысль восходила к тому единому для обоих ученых представлению об особенностях общественного сознания, что сформировалось в недрах “петербургского периода” русской истории. Оно было отчасти освещено материалами дискуссии на пушкинском вечере в ГЛМ, где Анциферовым была высказана мысль о нераздельном единстве в русском писателе таланта реалиста и социального историка. (“С одной стороны, писатель-реалист, а с другой стороны – историк, для которого история не есть что-то прошлое, а то, что в жизни присутствует и из чего рождается наше будущее, в которое мы вступаем”.) Томашевский, со своей стороны, показал, что новаторство, культурно-историческое значение и место в историко-литературном процессе Пушкина обусловлено его художественным открытием русского “исторического человека” в контексте специфически русского реального исторического хронотопа.

В те годы, когда Анциферов работал над своей диссертацией, ему не раз приходилось касаться этой, важнейшей для понимания его работы, темы. Во время состоявшегося в сентябре 1944 г. обсуждения доклада А.Л. Штейна “Своеобразие комедий Островского” по поводу стремления докладчика сопоставить творчество русского драматурга с художественными открытиями его западных собратий он заметил: «…когда мы обращаемся к сопоставлениям, то следует избегать делать такие выводы: “Вот видите, как на нашу литературу влияла иностранная литература”, или – другой момент – выдвигать “мы – выше”. Сопоставление необходимо нам для того, чтобы русскую литературу изучать как факт, явление европейской литературы». Но сопоставление необходимо также для выявления специфически русских особенностей художественного творчества: “Думаю, что это черта подходить к социальным проблемам – черта вообще русского ума, а не только ума писателя. Я сейчас вспоминаю, как иностранцы отмечают у русских историков этот редкий для историков вообще интерес к социальным процессам. Когда я читал курс историографии Французской революции во Франции, то такие, как (далее в стенограмме следует пробел для

оставшихся не вписанными фамилий иностранных ученых-историков. – *Д.М.*) не раз отмечали, что русская история интересуется социальными процессами. Социальная история это есть русская школа. Я хотел это обобщить и сказать, что это – качество русского ума" [32, л. 5–5 об.].

В этом общем для Томашевского и Анциферова понимании своеобразия русского писателя, сосредоточенного художественно, а порой – и научно, на проблемах национальной истории и сделавшего предметом изображения человека, маркированного хронотопически, то есть исторически и пространственно, – человека "местного", следует искать источник восхищения Томашевского работой своего коллеги. Это восхищенное одобрение тем более ценно, что за неофициальным оппонентом Анциферова издавна закрепилось мнение как о нелицеприятном и справедливом критике.

И все же, может показаться странным, что в эпоху, когда социологические схемы вульгарного марксизма торжествовали на официальных трибунах науки, когда общественно-политические оценки марксистских классиков были обязательной частью "ритуала" научного исследования (заметим, что огромной цитатой из Энгельса начал свой отзыв В.Я. Кирпотин), что в этих условиях утверждение качеств социального историка в русском писателе могло вызывать какие-либо иные эмоции, кроме естественного "удовлетворения". Однако именно понятие "писатель – социальный историк", примененное Анциферовым к Достоевскому, вызвало одинаковый протест официальных оппонентов. Каждый по-своему, они попытались отделить Достоевского-художника от Достоевского – социального историка.

Хотя тема города – тема социальная по преимуществу, и в разработке проблем урбанизма у великих писателей сказалось их отношение к "острым классовым битвам эпохи", сказал Кирпотин, все же художник не просто социолог. Писатель, прежде всего, художник со своим углом зрения и воспроизведения действительности. И, в согласии с классиками марксизма, между мировоззрением писателя и его художественным талантом следует установить некую грань. В свете этого "дуализма" идея золотого века у Достоевского вытекала из всего того *трудного, противоречивого и реакционного*, "что есть в мировоззрении Достоевского" и что Анциферов, как отметил первый официальный оппонент, предпочел не замечать. "Это облегчает ему его задачу, но вывод-то при этих обстоятельствах получается недостаточно обоснованный и убедительный". Кирпотина не убедило анциферовское соединение исторической идеи Петербурга с мечтой Достоевского о *земном* преображении города "трагического империализма". «Является, однако, натяжкой соединение понятия "золотого века" у Достоевского с двумя городами, противопоставленными Петербургу, с Царьградом <…> и Венецией» [33, л. 353].

А.Г. Цейтлин, со своей стороны, и вовсе не считал Достоевского писателем-социологом. В созданном Достоевским образе Петербурга, по его мнению, сказалась "творческая идеология" писателя, подвергшаяся влиянию его религиозно-нравственных убеждений: "Отмечая, что Достоевский не касался <…> уголовной тюрьмы большого города, Н.П. Анциферов не находит объяснения этому факту. <…> Для того чтобы это сделать, ему, очевидно, нужно было припомнить, что Достоевский не является художником-социологом, что он стремится к нравственному наказанию своих преступных героев". Поэтому все сказанное Анциферовым о "золотом веке", по мнению второго официального оппонента, выпадало из темы диссертации: "Конечно, Венеция и Золотой Рог – составляют в представлении Достоевского некоторую антитезу Петербургу, однако и здесь анализ выходит за грани поставленной Н.П. Анциферовым темы и нуждается в привлечении другого материала" [33, л. 358].

Цейтлин имел в виду, что исходное положение Анциферова, процитированное им в начале отзыва, "идеи Достоевского – это силы, рожденные Петербургом", недостаточно убедительно, чтобы вписать "Небесный Иерусалим" в созданный Достоевским образ Петербурга эпохи капитализма. Можно сказать, что заключительная глава работы стала тем "оселком", который выявил ограниченность научных представлений официальных оппонентов Анциферова, подтвердив опасения, возникавшие у соискателя перед защитой: "А вот мои оппоненты – которых мне дает Ин<ститу>т мир<овой> литературы, совершенно чужды урбанических интересов, и я далеко не уверен, что получу даже степень кандидата" [34].

Степень кандидата Анциферов получил – соответствие требованиям ВАК его оппоненты подтвердили. Однако "урбанистические интересы" Анциферова им были действительно чужды. По словам Кирпотина, "смысл творчества Достоевского <…> слишком спиритуализируется <…>. Неверные положения в работе Н. Анциферова необходимо устранить" [33, л. 353].

Кирпотин был прав. Анциферов действительно делал из "своего частного материала всеобщие выводы применительно ко всему творче-

ству Достоевского" [33, л. 353]. Этим *частным материалом* Кирпотину показалась духовная атмосфера города, которую породил комплекс природно-географических и социально-политических форм его существования. *Частным* следствием для него выглядело их воздействие на всякого, кто с этими формами даже кратковременно соприкасался. *Частной* особенностью было, по его мнению, свойство монументального города символически запечатлеть свое историческое предназначение, или "идею". *Частным* свойством представлялся ему талант социального историка (краеведа) у писателя, с сердечным переживанием воспринимающего местность. *Частной* способностью было и умение Достоевского "целокупно" и вместе с тем конкретно-индивидуально воспринимать действительность. *Частным* явлением было его стремление не к типизации, а к символизации явлений жизни в "мифе", объясняющем бытовое и историческое поведение населения. И потому идея Преображения, как исторический прогноз того будущего, к которому идет город и страна путем неизбежных преступлений и наказаний, – идея, которую Анциферов вслед за Достоевским "прочитал" в каменной летописи Петрополя, – была отброшена его оппонентами, не обладавшими способностями "*поэта*-историка".

Анциферов хотел предпослать своей монографии эпиграф, заимствованный у изучаемого писателя: "Будучи больше поэтом, чем ученым (у Достоевского – художником) я вечно брал темы не по силам себе". В чем и сознался, повторив в заключительном слове цитату дословно. То не было признанием собственной слабости как ученого, а утверждением присущего ему как исследователю своеобразия и даже научного преимущества – справедливое мнение, которое подтвердило выступление второго неофициального оппонента. Им был Е.Б. Тагер, в те годы старший научный сотрудник ИМЛИ, кандидат филологических наук.

Ему лучше других удалось сформулировать существо научного открытия, сделанного диссертантом. В своем выступлении, как кажется, предварительно не записанном, о чем свидетельствует естественность и эмоциональность изложения, было подчеркнуто, что Анциферов впервые в науке о литературе представил проблему урбанизма как самостоятельный ее раздел. Она разрешалась им в единстве трех самостоятельных аспектов. Первый – отражение ликов города в художественном произведении, – и "это блестяще показано Н.П. на очень большом историческом материале, то, что смог сделать Н.П., как никто другой" [1, л. 111]. Второй представляет город как "социально-историческое содержание. Город не только в своей пейзажно-изумительной видимости дан нашему сознанию. Это есть и некое понимание действительной истории, и Петербург в этом отношении представляет собой нечто особое по насыщенности этого рода материалом. Совершенно естественно, что эта сторона работы вошла в поле зрения Н.П., причем она-то и вынудила его совершенно сознательно поставить социальные идеалы Достоевского, которые решаются в заключительных главах диссертации" [1, л. 111–112].

И, наконец, третий аспект, который Тагеру казался самым существенным, состоял в представленном Анциферовым опыте изучения города как "целостной образной структуры художественного произведения, не как частный мотив, отраженный в литературном произведении, а структурно-конструктивный, определяющий момент в творчестве художника" [1, л. 112].

Последнее обстоятельство, заметил выступавший, не позволяет ему согласиться с официальными оппонентами, считавшими рассмотрение проблемы золотого века в урбанизме Достоевского выходом за пределы темы. Это было бы так, сказал он, "если бы о Петербурге говорилось как о частном изобразительном мотиве. Но в том-то и дело, что образ Петербурга контрастирует в себе самом с такой единой, вполне конкретной, материальной, образной точкой (с образами города Золотого века – Венецией и Царьградом. – *Д.М.*), что мы здесь имеем дело с такими существенными сторонами художественного миропонимания, что игнорировать этот образ <…> просто нельзя" [1, л. 112–113].

Что дали Анциферову как историку литературы выявленные аспекты подхода к теме города? Они позволили ему наблюдать "воочию, как уничтожается та грань между сюжетом – в пределах психологии поведения и воли – и, с одной стороны, представлением о содержании всего произведения, и, с другой стороны, стихией изобразителя, описателя. Эта грань между описательной, изобразительной стороной произведения и тем, что может быть названо драматическим, – эта грань реально никогда не существует. Она искусственно устанавливается нами в силу несовершенства наших навыков. Н.П. на теме своей диссертации – Петербург Достоевского – эту самую грань переступает". По словам Тагера, Анциферов избежал искусственных ограничений *лабораторно-научного подхода* к художественному творчеству. Тема города была рассмотрена им в необычном обличье – как "некоторое социально-историческое сопереживание" [1, л. 111].

Опыт историка помог Анциферову увидеть *объективное историческое содержание* природно-архитектурного ландшафта, краеведческий опыт подсказал *ценностно-эмоциональное содержание*, которым наделены его художественные воплощения. Был ли знаком Анциферов с исследованием М.М. Бахтина "Формы времени и хронотопа в романе", над которым тот работал во второй половине тридцатых годов? Вероятно, нет. В конце тридцатых Анциферов был под следствием и отбывал свою последнюю, третью ссылку. Однако присущий им обоим деятельностно-ценностный подход к художественному творчеству мог породить общие выводы.

Бахтиным было замечено, что хронотопы определяют художественное единство литературного произведения в его отношении к действительности и всегда включают в себя ценностный момент. "Хронотоп как преимущественная материализация времени в пространстве является центром изобразительной конкретизации, воплощения для всего романа. Все абстрактные элементы романа – философские и социальные обобщения, идеи, анализы причин и следствий и т.п. – тяготеют к хронотопу и через него наполняются плотью и кровью, приобщаются художественной образности. Таково изобразительное значение хронотопа" [35, с. 399].

Философско-эстетические выводы, сделанные Бахтиным на широком материале развития жанра европейского романа, Анциферов подтвердил на примере произведений Бальзака, Диккенса, Достоевского благодаря разработанной им методологии историко-литературного анализа конкретного урбанистического хронотопа.

Тагер высоко оценил то обнаруженное Анциферовым особое ценностно-эмоциональное содержание, которое вмещал образ Петербурга Достоевского, то содержание, которое, как считал М.М. Бахтин, может стать доступным только в результате *абстрактного* анализа. Задача, которую Анциферов воспринял от своего учителя И.М. Гревса на культурологических семинариях и которую он как ученый-историк неотступно решал в своей научно-теоретической и практической преподавательской и экскурсионной деятельности, была задача преодоления естественных ограничений и даже ошибок абстрактного научного подхода к литературным и историческим памятникам. С ней, как утверждает отзыв Тагера, Анциферов блестяще справился.

Предложенная им методология позволяла работать с хронотопами Достоевского не чуждыми "художественному телу" "хирургическими" инструментами научной абстракции, но *одноприродными* средствами краеведческого собирания и наблюдения, накопления и соположения фактов, вживания в источники реальных впечатлений, что некогда поразили Достоевского и его героев. Кстати, на последнее обстоятельство обратил внимание Кирпотин и поставил диссертанту в упрек: "иногда автор в своем изложении слишком сливается с Достоевским" [33, л. 353], не подозревая, что это обвинение Анциферов мог бы поставить себе в научную заслугу. Кирпотина же оно вело к иному заключению: "неверные положения в работе Н. Анциферова необходимо устранить".

Вслед за Достоевским Анциферов исследовал город "пешком". Благодаря предварительной научной проверке городского "маршрута", где заранее были намечены важнейшие "точки" и "углы" наблюдений, им было достигнуто беспрецедентное единство исследовательского видения реальности с позиции писателя. Ученый вошел внутрь сложнейшего образно-драматического единства художественного произведения, не разрушив его целостности, и оно предстало как динамическое взаимодействие творческих начал двух великих "художников" – материальной природы мира и его человеческой духовно-психологической ипостаси.

Тагер подчеркнул, что Анциферов подошел в своем анализе к тому моменту, когда следовало сделать прямые выводы, касающиеся системы воспроизведения действительности и принципов соотношения героев Достоевского и той среды, в которой герой действует. Ведь диссертант собрал для этих обобщений "чрезвычайно интересный и соблазнительный материал".

Тут мы подходим к *каверзной* особенности Анциферова как ученого, которая еще в двадцатые годы послужила завязкой той интриги, что во многом способствовала недооценке его работ или сознательного умолчания их научной значимости. Речь идет о "поэтичности" его научной манеры, которую он за собой знал и не скрыл от Ученого совета, процитировав устно не внесенный в текст диссертации эпиграф из Достоевского.

Анциферов действительно не стремится к выводам, которые, как сказал Тагер, расширяли бы "наши горизонты" – даже тогда, когда они "напрашиваются". Его работы создают иллюзию перечислительности, оставляют ощущение недоговоренности; рассматривая научный объект, они указывают глубину проблемы, но не стремятся ее исчерпать. Концептуальные обобщения "растворены" и теряются в описании и перечислении. Он избегает "авторитетным авторским словом"

“завершать”, то есть, в терминах Бахтина, лишать развития собранный им “чужой” материал. И все же этот научный стиль Анциферова не был следствием недостатка способностей его как ученого. Это был его сознательный выбор – следствие разработанного им метода локально-исторического исследования беллетристики, о котором нам уже приходилось писать [36, с. 18–33].

“Поэт”, призванный в помощники ученому, оберегает живое художественное созерцание, полное мысли, однако не абстрактное, а потому не разделяющее ничего и ни от чего не отвлекающееся. “Поэтический” взгляд улавливает образ “целокупно”, в то время как элементы абстрактного научного мышления проявляются в исследовании Анциферова лишь в структурном делении и соположении наблюдений и тем самым в минимальной степени нарушают целостность восприятия художественного мира. Поэт, соседствующий с ученым, в момент историко-литературного “эксперимента”, создает тот особый *творческий хронотоп*, в котором происходит *обмен произведения с литературоведом* – с историческим пространством исследователя.

Особенности научного стиля Анциферова, безусловно, осложняли адаптацию современниками его идей. Так вышло, что научное сообщество, признав значение открытий М.М. Бахтина, плодотворно использовав выявленную им формально-содержательную категорию художественного хронотопа, не обратило внимания на апробированную Анциферовым методологию конкретного историко-литературного его анализа. А ведь эта методология вела к выявлению индивидуально-неповторимого, субъективного ценностно-эмоционального содержания хронотопического образа, вмещавшего в то же время объективное социально-историческое свидетельство в прогностическом его аспекте.

Впрочем, манеру научного изложения Анциферова можно было бы отнести к явлению “автоцензуры” – следствию трагического опыта жизни. Более вероятно другое объяснение. “Идиографический” подход ученого к исследуемому материалу предполагал строго определенную форму участия исследователя в том диалоге, что начал художник с жизнью. Исследователь должен был добровольно принять на себя роль, предполагающую его исключительную “тактичность” по отношению к каждому из “собеседников” и желание принять и понять их точку зрения. Такой “диалогичный”, “драматически-поэтический” подход противоположен “самозванному серьезничанью” [37, с. 89] науки, стремящейся к авторитетным обобщениям и непререкаемой, мертвенной абстракции общих выводов. Живущий в Анциферове социальный историк требовал от него как литературоведа накопления материала и предельной конкретности описания; момент выводов и обобщений, полагал он, должен быть отнесен к неопределенному будущему, когда собранные и соположенные факты проявят свою “историческую действенность”.

В заключительном слове Анциферов откликнулся на обращенную к нему Тагером просьбу прокомментировать свою “научно-теоретическую сдержанность”. И сделал это в свойственной ему манере: «Сегодня предстоит защита еще одной диссертации, ввиду чего я попрошу разрешения у моих оппонентов ограничиться ответом только на один вопрос, который просто мне лично наиболее интересен. Это как раз вопрос о “золотом веке”»[1, л. 116].

Этот вопрос он разрешал привычным для него соположением наблюдений. Первое было сделано при изучении текстологии “Преступления и наказания”. В черновых тетрадях Достоевского есть описание, где Раскольников «стоит на мосту и смотрит на понурый Петербург, который был проникнут “духом немым и глухим”, и дальше говорится (в стенограмме следует пропуск нескольких слов. – *Д.М.*) слышит речь камней Венеции, Золотого Рога, которые вопиют… И Достоевский указывает, что Раскольников после совершения убийства уже считал, что он не вправе возвращаться к мысли о Венеции и о Золотом Роге» [1, л. 118].

Второе наблюдение касалось восприятия города самим Анциферовым.

Он уже упоминал о своем обновленном взгляде на переживший блокаду город, который он посетил весной 1944 г. Картины Петербурга, нарисованные Достоевским, подчас исключительно мрачные, вновь показались ему узнаваемыми не только на страницах его романов, но и на реальных “пыльных, душных, туманных, мокрых улицах” послеблокадного Ленинграда. Эти улицы, безусловно, некогда были прямыми возбудителями творчества писателя. Но если войти с этим “возбудителем” в *непосредственное соприкосновение*, то ощущение будет совершенно иное. “Я недавно почувствовал это поразительное ощущение Петербурга, ходил по его улицам в белые ночи и вывел заключение, что, несмотря на все изменения, несмотря на реконструкцию Сенной площади и пр. Петербург Достоевского в нем продолжает ощущаться. В Петербурге Достоевский видел большую идею, ради которой он прощал ему его мучительные стороны” [1, л. 103]. Сейчас

он вернулся к этому воспоминанию, чтобы заключить свое выступление: “Я думаю, что красота белой ночи несовместима с тем, что нарушает гармонию мира. Эти перспективы, это сияние над Петербургом, который отражает мировую культуру, – его чувствовал Достоевский” [1, л. 118].

Этим ответом Анциферов ограничился.

Выступавших больше не было.

Мысль, высказанная Томашевским и повторенная вторым неофициальным оппонентом: “Я присоединяюсь к словам профессора Томашевского, считающего, что действительное понятие [кандидатской] диссертации и той в высокой степени интересной и содержательной работы, которая лежит перед нами, действительно несоизмеримые понятия” [1, л. 115] – была безмолвно воспринята членами Ученого совета. И вышло так – последнее, что собравшиеся могли услышать по существу содержания анциферовского текста, были слова Е.Б. Тагера: “Я хочу здесь подчеркнуть существеннейшее <…> методологическое значение работы Н.П. Анциферова, действительно <…> открывающего новую страницу в нашем литературоведении, и страницу, обязывающую, чтобы она была продолжена общими усилиями работниками литературной науки” [1, л. 111].

Были ли приняты мнения и оценки неофициальных оппонентов ученым собранием? Отчасти – да. Об этом свидетельствует отзыв А.Г. Цейтлина, где в заключительных строках выражается поддержка публикации диссертационного исследования Анциферова. По-видимому, между Государственным издательством художественной литературы и Анциферовым был даже заключен договор об издании текста диссертации. Однако при жизни ученого этого не произошло. Последняя по времени попытка опубликовать исследование была предпринята уже после смерти ученого и, вероятно, принадлежала С.А. Гарелиной (второй жене Н.П. Анциферова). Среди переданных ею материалов в фонде ученого Российской национальной библиотеки сохранился датированный 26 мая 1960 г. автограф рекомендации Л.П. Гроссмана: «Можно только присоединиться к положительным отзывам о работе Н.П. Анциферова “Проблемы урбанизма в русской художественной литературе” таких авторитетных ученых, как В.Я. Кирпотин и А.Г. Цейтлин, и к заключению Ученого совета Института мировой литературы <…>. Книга такого оригинального, талантливого и тонко эрудированного исследователя, как покойный Н.П. Анциферов, встретит несомненное сочувствие в широком кругу наших читателей, работающих в области художественной культуры, литературы и искусства» [33, л. 360–360 об.]. Однако кандидатская диссертация Анциферова, названная его ученицей и биографом О.Б. Враской “особенно ценной” [38, с. 313], ни при жизни Николая Павловича, ни после передачи основного корпуса архива, согласно его воле, в Российскую национальную библиотеку, опубликована не была.

Сейчас, когда издание итоговой работы ученого “Проблемы урбанизма в русской художественной литературе”, наконец, осуществлено, можно вернуться к сформулированной Е.Б. Тагером научной задаче.

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ

1. Архив РАН. Ф. 397. Оп. 1. Ед. хр. 126. Лл. 88–119.
2. ЦГА СПб. Ф. 4265. Оп. 1. Ед. хр. 205.
3. *Конечный А.М.* Н.П. Анциферов – исследователь Петербурга // Петербург и губерния. Историко-этнографические исследования. Л.: Наука, 1989.
4. ОР ИМЛИ. Ф. 427. Оп. 2. Ед. хр. 4.
5. ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Ед. хр. П-4895.
6. ОР РНБ. Ф. 27. Ед. хр. 31.
7. *Вагинов К.* Полное собрание сочинений в прозе. СПб.: Гуманитарное агентство “Академический проект”, 1999.
8. *Ахматова А.* Стихотворения и поэмы. Л.: Советский писатель, 1976.
9. *Вагинов К.* Опыт соединения слов посредством ритма. М.: Книга, 1991.
10. *Бухарин Н.* Церковь и школа в Советской республике. М.: Изд-во Всероссийского центрального исполнительного комитета, 1918.
11. *Столпянский П.Н.* Петербург. СПб.: НеГА, 1995.
12. *Голубева И.А.* Петр Николаевич Столпянский – историк Санкт-Петербурга. СПб.: Дмитрий Буланин, 2007.
13. *Анциферов Н.П.* Проблемы урбанизма в русской художественной литературе. М.: ИМЛИ РАН, 2009.
14. *Брюсов В.Я.* Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М.: Советский писатель, 1990.
15. Последние новости. 1922. № 16. 8 ноября.
16. ЦГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1. Ед. хр. 2.
17. *Анциферов Н.П.* О методах и типах историко-культурных экскурсий. Пг.: Начатки знаний, 1923.
18. ЦГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1. Ед. хр. 18.
19. ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1. Ед. хр. 919.
20. *Анциферов Н.П.* Душа Петербурга. Быль и миф Петербурга. Петербург Достоевского. Пб.: Брокгауз-Ефрон, 1922. [Репринтное воспроизведение изданий 1922, 1923, 1924 гг.]. М.: Книга, 1991.

21. ЦГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1. Ед. хр. 5.

22. ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1. Ед. хр. 954.

23. ЦГАЛИ. Ф. 32. Оп. 2. Ед. хр. 3.

24. *Томашевский Б.В.* Литература и биография // Книга и революция. 1923. № 4.

25. *Анциферов Н.П.* Из дум о былом: Воспоминания / Составление, вступительная статья, примечания А.И. Добкина. М.: Феникс: Культурная инициатива, 1992.

26. *Осповат О.Л., Тименчик Р.Д.* “Печальну повесть сохранить…” Об авторе и читателях “Медного всадника”. М.: Книга, 1985.

27. ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1. Ед. хр. 331.

28. *Пумпянский Л.В.* Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской литературы. М.: Языки русской культуры, 2000.

29. ГА РФ. Ф. А-629. Оп. 2. Ед. хр. 119.

30. ГА РФ. Ф. А-629. Оп. 1. Ед. хр. 218.

31. ГА РФ. Ф. А-629. Оп. 2. Ед. хр. 114.

32. ГА РФ. Ф. А-629. Оп. 1. Ед. хр. 251.

33. ОР РНБ. Ф. 27. Ед. хр. 84.

34. ОР РНБ. Ф. 27. Ед. хр. 167.

35. *Бахтин М.М.* Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Художественная литература, 1975.

36. *Московская Д.С.* “Литературоведческий урбанизм” Николая Павловича Анциферова. К 120-летию со дня рождения // Известия РАН. Серия лит. и яз. 2009. Т. 68. № 4.

37. *Паньков Н.* М.М. Бахтин: ранняя версия концепции карнавала // Вопросы литературы. 1997. № 5.

38. *Враская О.Б.* Архивные материалы И.М. Гревса и Н.П. Анциферова по изучению города // Археографический ежегодник за 1981 г. М.: Наука, 1982.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 07-04-00116а “Русская литература 1920–1930-х гг. и краеведение (историко-культурный и идейно-творческий аспекты)”.